

АЛЕКСАНДР БАХРАХ

По памяти, по записям

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ

LA PRESSE LIBRE

ПАРИЖ, 1980

РЕМИЗОВУ БЫЛО БЫ СТО ЛЕТ

В небольшой книжке «Кукха», вышедшей в Берлине в 1923 году, Ремизов опубликовал адресованные ему письма Розанова, сопроводив их забавным комментарием. В частности, в главке «Нумизматика» — эта отрасль знания всегда заставляла трепетать сердце Розанова — Ремизов, как бы обращаясь к своему корреспонденту, рассказывал, что «сделал обезьянью монету в один квадрильон, которую за обезьяньего царя Асыку собственноручно подписал указ А. Бах-рах» и далее «все это тончайшей комариной ножкой как нарезано от царя Асыки до Бахраха указа». Не скрою, что тогда мне очень польстило носить титул указа ремизовской обезьяньей палаты да еще в придачу значиться у него «турецким послом обезьяньим и кавалером первой степени с журавлиной ногой».

Впрочем, все это было так неправдоподобно давно, что теперь я даже не могу припомнить, как я познакомился с Ремизовым и кто впервые привел меня в его берлинское обиталище. Помню только, что, перейдя его порог, я почувствовал себя примерно так, как сказочная Алиса, вступившая в потустороннее пространство. Скромная, помещански меблированная квартира была приведена Ремизовым в «надлежащий» вид и была пропитана воздухом «взвихренной Руси», как он прозвал первые послеоктябрьские годы. Ремизовские комнаты были разукрашены какими-то яркими бумажными вырезками, от стены к стене была протянута веревка, на которой висели елочные шишки и какие-то амулеты, то и дело куковала невпопад какая-то заводная кукушка, а поверх всего обитала в этом жилье супружеская чета, даже по внешнему облику ни с какой другой не схожая — то ли Филемон и Бавкида, то ли «старо-светские интеллигенты».

Однако, несмотря на все эти колдовские декорации, очень скоро можно было почувствовать, что хозяин этой причудливой квартиры не столько чародей, сколько мудрец, который своими чудачествами и своими — иногда каверзными — «шуточками» только испытывает посетителей.

За долгие годы общения с Ремизовым я успел узнать его довольно близко, хотя едва ли сумел отгадать до конца. Что-то он всегда хранил в себе «за семью печатями», чего-то никогда не договаривал — ни в своих автобиографических писаниях, ни в самых задушевных разговорах.

Так сложилось, что бывали в моей жизни периоды, когда я частенько навещал Ремизовых, не раз помогал при переезде с одной парижской квартиры на другую, но бывало, когда мы не встречались месяцами. Такие перерывы, впрочем, не мешали тому, что наши отношения всегда оставались на одном уровне, и я с уверенностью знал, что в трудную минуту, будучи на любом распутье, могу прийти к Алексею Михайловичу, поплакать в его жилет и среди тихих и трезвых слов, без наставлений, без нажатия педалей, как-то сам собой родится всегда добрый совет.

Знал я еще, что нет той литературной справки, которую нельзя было бы от него получить. Его внутренний, глубочайший культ протопопа Аввакума и Гоголя, Достоевского и Лескова, всей русской старины в ее многовековом разнообразии был тем, что его питало, что до конца дней составляло главную радость его жизни. Ведь смысл этой жизни, особенно в тяжелые для него годы вдовства, был в открытии или, точнее, в использовании по-новому утерянных словесных оборотов и забытых словечек. Это своенравное стремление повернуть вспять развитие языка, направить разговорную речь чуть ли не по канонам московской Руси, было его прихотью, каким-то непреходящим, хоть и очень спорным, капризом. Однако, это не мешало ему с таким же любованием изучать различные варианты сказаний о Тристане, византийские легенды или «Тысячу и одну ночь» и не менее близок был ему волшебный мир гофмановского кота Мурра.

Наряду с этим, Ремизов с заботливой пристальностью вслушивался в каждый молодой голос, радовался рождению новых литературных имен, даже если они были только обещаниями. Отдыхая от переписывания новой своей вещи или от рисования (его графические работы заслуживают быть отме-

ченными особо), вооружившись красным карандашом, он любил просматривать только что полученную книжечку какого-нибудь новорожденного поэта или прозаика и почиркать ее, делая отметки на полях и испещряя их вопросительными и восклицательными знаками. Впрочем, подобные же знаки он расставлял и на полях книг своих «маститых» и общепризнанных собратьев по писательскому ремеслу!

В первые послевоенные годы, когда он очутился один и не было больше его Серафимы Павловны, которая была скорее предметом его неустанных забот, нежели «заботливой женой» в общепринятом понимании этих слов, я забегал к нему довольно часто. Не могу забыть, как среди всей внешней неорганизованности его жизни, среди всех ее повседневных трудностей, он как-то в случайном разговоре воскликнул: «Боже, как я богат». В этих словах не было ни позы, ни иронии. Он действительно, считал себя богатым той ревниво им охраняемой творческой свободой, богатым нежеланием подчиниться жизненной прозе, богатым неспособностью идти навстречу читателю, хотя бы в какой-то крошечной мере заискивать перед ним.

Ведь надо сознаться, что Ремизов был скорее писателем для писателей, чем для читательской массы. Зато писателям, даже тем, которые этого не хотели сознавать, он был так же нужен, как таблица логарифмов инженеру. При жизни его печатали неохотно, и он не переставал скулить по поводу отношения к нему издателей и редакторов. Между тем за годы эмиграции он выпустил рекордное количество книг, и, кажется, не было ни одного зарубежного журнала, ни одного альманаха, в оглавлении которого не значилось бы имени Ремизова. Книги его когда-то расходились «по чайной ложке», и как радостно был бы он поражен, если бы дано ему было узнать, что теперь его литературное наследство все время переиздается, а его творчеству посвящен целый ряд иноязычных докторских работ.

Хотя мы подолгу жили в одном городе, он любил писать письма или краткие записки, иногда без всякого конкретного повода. В моем архиве их сохранилось свыше полутора ста, и недавно они были разобраны одной из сорбонских исследовательниц ремизовского творчества.

Для каждого из своих знакомых им была припасена кличка, и Ремизов искренно считал, что, произнося ее, каждый обязан был знать, кого он имеет в виду. В письмах последних

лет он именовал меня — уж не знаю, почему — своим «ангелом-хранителем», но не поручусь, что было им выдуманно для меня и менее «возвышенное» прозвище. Такого рода «дублиеты» не были редкостью в его обиходе. Таков был человек... Но эту двойственность нельзя ему не прощать. Она была частичкой его личности, той «игрой», которая была ему как воздух необходима, чтобы хоть как-то усладить свое одиночество. Ведь в своей квартирке он жил точно улитка в своей скорлупе, всегда казался хилым, всегда сутулился, всегда ежился от холода и заворачивался в какие-то оренбургские платки, и можно было подумать, что малейший порыв ветра его опрокинет. Ему нужны были люди, собеседники, кто-то, кому можно было дать невыполнимое поручение, кто мог бы стать объектом для его надуманных снов, которые когда-то так пришлись по вкусу французским сюрреалистам.

А по существу он был однолюбом в самом буквальном смысле, и после кончины Серафимы Павловны, которой, кстати сказать, посвящены все его книги, его жизнь была в конечном счете уже неким прозябанием... хотя, хотя боюсь это громко высказать, с ее смертью он, может быть, подсознательно почувствовал некий избыток свободы; но ведь человеку с белой палкой едва ли была нужна такая свобода.

Будь он жив, ему теперь исполнилось бы сто лет... Сто лет — такой долгий для каждого из нас срок, что мне это представляется едва правдоподобным, потому что для меня он все еще остается кем-то близким, дружески ко мне расположенным. Впрочем, зачем удивляться? Ведь, собственно, он всегда был человеком без возраста.

Ему исполнилось бы теперь сто лет... Значит он родился в дни, когда царствовал Александр II и доживали свои последние годы Достоевский и Тургенев. А на другом конце его жизни оказалась уже даже не «взвихренная Россия», а советская страна, в которой не осталось в живых ни одного из спутников его жизни, страна, которая была для него наглухо закрыта, к которой он, может быть, тянулся, но где он был бы меньше «ко двору», чем в любой из стран западного мира. Для уроженца Замоскворечья, где при его рождении еще свежа была память об Аксаковых и Киреевских, для него — последнего из «славянофилов» в том лучшем, что связывается с этим понятием, — это было трагично.

И сегодня, думая о нем, я еще раз невольно вспоминаю,

как всякий раз, когда я покидал его жилище на рю Буало, он через довольно длинный коридор провожал меня до дверей, и неизменно произносил «Ну, идите с Богом». Это ремизовское «Идите с Богом», сказанное ласковым, чуть вкрадчивым голосом, до сих пор раздается в моих ушах.